

## посредственность как социальная опасность — Лекция Ольги Седаковой

**Ольга Седакова:** Добрый вечер. Я благодарна тем, кто пригласил меня выступить перед аудиторией, которую я редко встречаю, аудиторией, которая собирается обсуждать политические вещи. Это приглашение меня порадовало, но и испугало, потому что менее подходящего человека для такой беседы, я думаю, трудно найти. Насколько я представляю, здесь обыкновенно выступают люди, которые несопоставимо теснее, чем я, связаны с актуальной политической и общественной ситуацией, с тем, что составляет, по видимости, ядро этой ситуации. Я не политолог, не социолог, я мало что понимаю в экономике, юриспруденции; я практически не участвую в литературной публичной жизни, коллег своих встречаю обыкновенно в других краях, как, например, два дня назад встретила многих из них во Франции. И, наконец, я уже тридцать лет живу без телевизора. И что же можно услышать от такого человека? Скорее всего, ожидается нечто вроде “Записок аполитичного” в духе раннего Томаса Манна. Но аполитичность, как известно, — это не более чем политическая позиция. Одна из политик. И довольно популярная. Что касается меня, то я такую аполитичную политику декларировать не собираюсь.

То, что меня интересует и всегда интересовало, относится к тому, что называют внутренней жизнью человека.

Внутренняя жизнь, вообще говоря, обладает большой автономностью от внешних обстоятельств, а порой, в самых напряженных моментах, может обладать абсолютной автономностью. Такой момент абсолютной автономности, иначе говоря, свободы от всего, что происходит снаружи, описал Лев Толстой в своем Пьере Безухове, когда Пьера в московском плену у французов, в ожидании возможного расстрела посещает чувство личного бессмертия. И рядом с этим чувством все кажется смехотворным: “Меня расстрелять? — думает Пьер. — Мою бессмертную душу?” Такие моменты абсолютной автономности случаются не только в пограничных ситуациях: сверхтяжелых, сверхопасных — они могут быть в совсем других местах. В том, что называется “веянием хлада тонка”, в голосе какого-нибудь старого певца на старой пластинке — это, в конце концов, несущественно. Существенно то, что мы оказываемся в прострастве другого, по существу, измерения. Не только другого измерения: в том месте, которое само — мера, которое само измеряет происходящее уже каким-то иным — и не побоюсь сказать, последним образом.

Во внутренней жизни — я понимаю условность этого названия, но постмодернистская привычка ставить все в кавычки и говорить перед каждым серьезным словом “как бы” (“я как бы радуюсь”) мне уж очень надоела, поэтому я позволю себе такое старинное выражение — во внутренней жизни человек встречается с тем, что Гёте назвал “старой правдой”, которая всегда та же.

Das Wahre ist von laengst gefunden,  
Hat edle Geisterhaft verbunden;  
Das alte Wahre, fass es an!  
Правда найдена давным-давно  
И связала союзом благородные души;  
Крепко держись ее — этой старой правды.

Эта “старая правда” не изменяется не только от смены политических режимов, но и от космических катаклизмов. Как известно, “небо и земля прейдут, но слова Мои не прейдут” (Мр. 13:31; Лк. 21:33). Искать ее не надо, она найдена или открыта давным-давно или была открыта всегда. Но что надо искать — это себя, такого себя, который способен ее встретить. Продолжая прибегать к гётевским словам, искать себя “благородного”, себя, который состоит в союзе вот с этим обществом связанных правдой душ. Именно на этом месте — пути к себе — мы как раз и встречаемся с политикой. Это неожиданно? Разве не бежать от политики — вместе со всем “внешним” следует, чтобы найти себя? Такой путь хорошо известен, в обиходе он и почитается “духовным”. По моему убеждению, если это путь духовности, то гностической. Одно дело — отстранение от политизирующей суеты:

И мало горя мне, свободно ли печать  
Морочит олухов, иль чуткая цензура  
В журнальных замыслах стесняет балагура –

совсем другое – отношение с политикой в ее исходном, аристотелевском смысле: с политикой как законами общежития, законами гражданства. Потому что к этой самой гётевской “старой правде” нельзя прийти, если ты пойдешь путем новой кривды, то есть равнодушия к тому, что происходит, использования всего этого для каких-то своих маленьких удач и выгод или же –выберешь себе пресловутую “точку зрения вечности” — *sub specie aeternitatis*, что особенно любят обыватели. Для них это почему-то чрезвычайно легко — оказаться в этой точке и смотреть на все глазами вечности. Но такая панорама чаще всего подозрительно напоминает обыкновенное наплевательство.

Мне рассказывали мои итальянские знакомые, которые навещали Соловки, как они спросили там насельников, монахов, почему на Соловках так мало памяти о том, что происходило совсем недавно, почему их гид об этом и речи не заводит. На это они услышали: да ведь было такое краткое время в сравнении с вечностью... Вот это та точка зрения *sub specie aeternitatis*, которую, по-моему, можно назвать точкой зрения свинства. Мои итальянские знакомые, верующие, не побоялись заметить, что и 33 года земной жизни Христа с точки зрения этой вечности – совсем короткое время!

Вспоминая Томаса Манна уже зрелого, можно привести его слова о том, что политика — это здоровье духа, который вне политического самосознания и действия гниет. Что такое в конце концов эта политика, это гражданство? — С одной стороны, это опыт существования в виду зла — и ввиду страдания, чужого страдания, с другой. Вот что я имею в виду, когда говорю о политике. Здесь каждый человек оказывается свидетелем. Оказывается участником истории – или жертвой истории, как это понимал Бродский: не тем, с кем круто обошлись, а тем, кто по неведению или лени или малодушию оказался сотрудником палачей.

Когда зло принимает откровенно inferнальные формы, а невинные страдания превосходят все меры, как это было, допустим, при Гитлере и Сталине, то союз со злом или даже мирное с ним сосуществование определенно делают для человека невозможным встречу со “старой правдой”. Для своего “внутреннего мира” он принес в жертву других – и уж тут никакого мира ждать не приходится. В этом я глубоко убеждена, и доказательств этому много. Выбор в ситуациях такого рода труден по-человечески (жалко себя, страшно и т.п.), но совсем не труден эвристически: здесь все ясно — где зло, где добро; во всяком случае, мыслящему и чувствующему человеку это несомненно ясно.

Наша ситуация гораздо сложнее: она пестрая и мутная. Времена, которые я помянула, времена inferнального зла, без стыда утверждали целесообразность зла любого масштаба, постулируя, что зло — это добро, если оно служит верной цели (“немецкой верности” или “торжеству коммунизма”). Теперешнее время такого не говорит. Скорее уж оно говорит, что само это различие устарело, что все и не добро, и не зло, а что-то такое смешанное и невнятное, отчасти хорошее, отчасти дурное – как все мы, как весь этот грешный мир. Нет худа без добра – и добра нет без худа, как симметрично дополнил немудрящую пословицу Бродский – и предположил, что это и есть та новость, которую Россия несет Западу, тот “свет с Востока”, которого он ждал и наконец созрел до него. Созрел до старого цинизма софистов? И так, во всяком случае, не нам рассудить, что здесь зло а что добро, и сама такая претензия различать грозит фундаментализмом. Насилие становится неприметным, носители его — анонимны. Кто, собственно говоря, тиран либерального общества? А жертв как будто и вовсе не видно.

Из того, что я говорю, понятно, что “нашей ситуацией” я называю не собственно российскую ситуацию, в которой мы еще недалеко отошли от этих inferнальных форм насилия и страдания, и они всегда рядом, так что не впасть в них снова — это наша актуальная задача, и дальше нее ничего не видно. Но тем не менее, есть общее “планетарное” время, есть положение всей цивилизации, к которой мы так или иначе принадлежим (или будем принадлежать) и ключевое слово которой – либерализм. Вот это-то общее как раз, мне

кажется, во всех наших разговорах об актуальности и современности не обсуждается. Мы продолжаем говорить о собственной ситуации как из-за железного занавеса или из-за китайской стены.

Это то самое общее положение, которое мы, после того, как наша почти полная изоляция в мире кончилась, вроде бы должны нагонять: вроде бы мы отстали от “них”. Однако порой мне кажется (по опыту двойной жизни, поскольку я все время странствую между двумя этими мирами, “нашим” и “их” и не могу уже не видеть их как один мир) — мне кажется, что, как ни странно, часто дело обстоит ровно наоборот. Кажется, что мы в каком-то смысле уже были в будущем этого либерального общества, хотя, естественно, ничто точно не повторяется, и “их” будущее может принять какие-то другие оттенки. Но я отчетливо видела, что в чем-то мы действительно были, как тогда пели, “впереди планеты всей”.

Я расскажу одну историю, которая, может быть, уточнит то, что я имею в виду. Однажды в Хельсинки, в университете, меня попросили рассказать в течение одной лекции, академического часа, вкратце, историю подсоветской культуры и искусства. Одним из опорных моментов в моем рассказе был “простой человек”. Я сказала, что героем всей этой истории искусства был “простой человек”. От художников требовалось писать так, чтобы это понял “простой человек”. От музыкантов требовалось писать такие мелодии, которые “простой человек” (то есть, не получивший музыкального образования и, возможно, не отягченный особо тонким слухом – иначе он уже не “простой”) может с первого раза запомнить и спеть; философ не должен был говорить “заумного”, “сумбурного” и “непонятного”, как это делали Гераклит, Гегель и другие “несознательные и буржуазные”, и так далее, и так далее. Был ли этот “простой человек” реальностью или он был конструкцией? — Это вопрос. Я думаю, изначально он был конструкцией, моделью “нового человека”, “человека воспитуемого”, но постепенно эта официальная болванка наполнилась содержанием, и мы увидели этого “простого человека” вживе; его “воспитали”, ему внушили, что он имеет право требовать, чтоб угождали его невежеству и лени. О, сколько раз я видела “простого человека” в действии. На выставках он писал в книгах отзывы: “Для кого это все выставлено? Простой человек этого понять не может”. Он строчил в редакции, он сам стал воспитателем. Да, люди стали такими, какими их хотели видеть. Видимо, это было удобно. Заметьте, как мало говорится о том, какое удобство реальный социализм, во многих отношениях мучительный, предлагал человеку, чем он соблазнял его: возможностью безответственности, свободы от личной вины, свободы от “комплекса неполноценности” перед всем, что превышает его понимание и его опыт. Это прекрасно описал Пауль Тиллих, анализируя тоталитаризм в своем “Мужестве быть”. Без согласия среднего человека на режим, без этого добровольного совпадения населения с режимом мы мало что поймем в происшедшем у нас.

Итак, я рассказываю приблизительно так, привожу примеры, говорю о том, что на могилах многих наших художников, убитых сразу или взятых долгим измором, можно написать: “Их убил простой человек”. И, пока говорю, вижу: студенты смущаются, ежатся... Потом ко мне подходили преподаватели и благодарили: “Большое вам спасибо! вот теперь они узнали, что делают”. Как выяснилось, хельсинские студенты подходят к своим профессорам с этим самым требованием: “Пожалуйста, не завышайте задач, не требуйте от нас слишком многого. Не говорите нам слишком сложного и заумного. Мы обычные, простые люди — не требуйте от нас невозможного. Все должно быть для простых людей”.

Финляндия здесь нисколько не исключение. Это совершенно типичная картина. Я встречала европейских редакторов, издателей, которые говорили то, что мы в прежние времена слышали постоянно и надеялись, что это навсегда исчезнет вместе с нашим специфическим режимом: “Наш читатель этого не поймет”. “Мы не должны угнетать читателя завышенной эрудицией, сложностью и т.п.”

Часто в таком разговоре мне приходилось слышать наше родное — незнакомое, к счастью, сидящим здесь молодым людям — раздвоение человека на “я” и “мы”. То есть, человек спокойно излагает собственную позицию: “Я лично этого не люблю, но нам это нужно” — не смущаясь тем, что это позиция клинической шизофрении. Или наоборот: “Я это люблю, но

мы этого принять не можем". Так может говорить человек, облеченный огромной властью. Допустим, министр культуры.

Мне приходилось разговаривать с таким человеком. Он устраивал фестиваль поэзии, на который пригласил самого модного немецкого поэта. Все остальные были поэты как поэты, то есть, они писали стихи на бумаге, и стихи эти состояли из слов, подобранных лучше или хуже. Самый модный поэт ничего такого не делал. Он обладал исключительной артикуляционной одаренностью: он изображал стихи при помощи одних только звуков, и при этом, как ни странно, можно было узнать, что он изображает. Он объявлял: "Я читаю стихотворение Гёте „Горные вершины"", — и дальше начинал издавать весьма странные неиндоевропейские звуки, невероятно смешно, и все каким-то образом понимали, что это именно "Горные вершины". Так он изобразил даже Хлебникова, и я могу свидетельствовать, что это было похоже и очень забавно.

Устроитель спросил меня: "Как вам это нравится?" И я ответила, что первые минут десять-пятнадцать можно умереть со смеху. Еще через пятнадцать минут чувствуешь себя свиньей, в которую тебя обратила какая-то Каллипсо, так что теперь ты способен только хохотать и больше ни в чем не нуждаешься. Он печально кивнул. И я спросила его: "Зачем же вы его пригласили сюда? Ведь бывают эстрадные вечера, где такое делают актеры оригинального жанра. Здесь вроде бы собрались поэты". Он мне говорит: "Но вы понимаете, что о нас скажут, если у нас не будет такого? Мы окажемся реакционерами, правыми, расистами и всем остальным".

Много историй подобного рода я могу рассказать о разнообразных проектах и отчетах. Проекты — а культурная и научная жизнь в свободном мире теперь практически переведена на проекты и гранты — пишутся совершенно конформистским способом. Если в проекте не будут указаны темы, которые считаются актуальными — гендерные, в первую очередь; про тело; что-то еще в этом роде — то человек просто не получит гранта или стипендии. Это также вполне знакомая нам техника маскировки своих настоящих интересов под тем, что называется "актуальным", а у нас называлось... "идейно верным", кажется.

Я могу рассказать о монументальной живописи — и не где-нибудь, а в ватиканских дворцах. То, что там делается сейчас, до боли похоже на советскую монументалку брежневского времени. Как раз глядя на такие актуальные декоративные работы, Сергей Сергеевич Аверинцев и вспомнил песню, которую я уже цитировала, и сказал: "А вот скажите мне, ведь когда нам говорили: „Мы впереди планеты всей", — мы не верили. И пожалуйста: они приходят к чему-то похожему". К чему похожему — понятно: к обществу контролируемому, к обществу установочно популистскому, которое ориентируется на чрезвычайно сниженный умственный и культурный уровень, на этого самого "простого человека", для которого работает могучая индустрия развлечений и которого надо защищать от "непростых".

Поэтому я и назвала ту опасность и ту тираническую силу, которая, по-моему, угрожает современности, посредственностью. Меня очень позабавило, как мою тему сообщили в рассылке: "Ответственность как социальная опасность". Может быть, в такой постановке вопроса есть смысл, но мне еще о нем не приходилось подумать. Предложение интересное, так что, может быть, когда-нибудь я и об этом подумаю, об опасности ответственности. Несомненно, и такая опасность существует.

Но пока я собираюсь говорить о посредственности.

Прежде всего, я предлагаю вспомнить, как был осмыслен у нас наш радикальный поворот от общества тоталитарного типа к какому-то другому. От чего предполагалось уйти и в какую сторону направиться. В какую сторону, ясно: в сторону модернизации, вестернизации, достижения того, чем располагает "весь цивилизованный мир". При этом цивилизованный мир представлялся как мир демифологизированный, рациональный, прагматичный. Избавляться же следовало от господства мифа, от бессознательного, в котором мы пребывали, от "нецивилизованности".

Несколько лозунгов переходили из уст в уста и в конце концов приобрели статус неоспоримых истин. Один, самый ходовой — строка Бродского:

Но воруга мне милей, чем кровопийца.

Другой – из никем не читанного, но всеми почитаемого Вебера, о протестантском происхождении капитализма.

Третий – смерть интеллигенции и вина русской литературы и русских мыслителей за происшедшее.

Четвертый: или хорошая жизнь – или хорошее искусство. Чтобы не было лагерей, не нужно нам и Достоевских.

Остановлюсь на минуту только на первом из этих глубокомысленных тезисов. Поэтический смысл строки Бродского не обсуждается. Принятый же *sensu stricto*, как руководство к действию, этот стих довольно страшен. Мина замедленного действия, которую оставил Европе старый тоталитаризм, — вечное сопоставление с собой, из которого получается, что все что угодно лучше и уже потому его нужно принять. Нацизм принят за абсолютное зло, рядом с которым любое другое терпимо и даже оправдано. Но, как заметил французский философ Ф. Фейхе, всякое зло абсолютно. На практике нетрудно убедиться, что воровство непременно где-нибудь вдали кончится кровью, как это описано в “Фальшивом купоне” — и как мы имели возможность многократно убедиться, читая о разборках начинающих бизнесменов... Тем не менее, благодущная безыдейная аморалка приветствовалась как альтернатива “кристально чистым” кровопийцам-идеологам.

И что же мы получили в конце концов, на самом деле? Отнюдь не реальный, нормально действующий рынок, которого, как все знают, у нас так и нет. Мы получили новый миф и новую идеологию: идеологию рынка. Больше того: поэзию, романтику рынка. В западном мире ничего похожего нет: рынок — прозаическая реальность; никто ее не воспевают, никто не учит рынку как идеологии, никто не выступает с моралью или поэзией рынка. Ребенку говорят: “Be nice, помогай ближним, будь хорош со всеми”. Его отнюдь не учат: “Урви свое и беги. Думай о себе, остальное – не твоя проблема”, — то есть, всему тому, чем занималась наша новая педагогика, воспитание еще одного “нового человека” из старого, который получил отвратительное имя “совок”. “Совка” — со старым пренебрежением, замечу, — взялись обучать всему, чего у него не хватает. Не хватало ему, как оказалось, прежде всего хулиганского индивидуализма, который был провозглашен в качестве новой нормы – на место мифического “коллективизма”. Индивидуализм без берегов. Индивидуализм человека, который живет не среди себе подобных, не среди других людей, имеющих с ним общие интересы, — но против всех. Другое называлось “совковостью”, “советским идеализмом”, “советским аскетизмом” и т.п.

Итак, в цивилизованном мире до сих пор принято учить хорошему – и даже некоторым новым хорошим вещам, например, экологическому сознанию, с которого начинаются многие первые школьные учебники (и среди них – учебник Закона Божия, который я видела в Италии: с внимания к красоте и хрупкости творения). Можно, конечно, сказать, что это привычное расхождение реальности (в которой господствуют утилитарные мотивы) и системы воспитания (в духе определенных гуманистических ценностей) — что это не более чем лицемерие, известное ханжество западного общества, которое всегда обличают местные мыслители неомарксистского толка, привыкшие срывать все и всяческие маски. Вот вы учите общежитию: люби ближних, помогай бедным, не презирай людей другой расы, — а на самом деле... Вот вы говорите о музеях, о гениях, о вдохновении, о шедеврах, а на самом деле, искусство — тот же рынок, и успешные художники – это те, кто хорошо знают его, выбирают правильную стратегию и потому хорошо продаются и остаются в веках. Такого рода высказывания несут в себе тон вызова, провокации. Говорить так — дело обличителей общества, для которых в этом обществе предусмотрено свое место. У нас же такая “искренность” стала первым словом о вещах, стала системой воспитания. Воспитания – как я уже говорила – очередного нового человека, на этот раз современного, западного, продвинутого.

Это перевоспитание, которым у нас занималась, да и теперь занимается реклама. И как она воспитывает? — Ирина Александровна Седакова, моя сестра, как-то исследовала рекламу с этой точки зрения и сделала определенные выводы: это новая индоктринация,

сменившая советскую. Чему она учит? Реклама учит жить. Одними из главных слов этой науки года три назад были “жизнь” и “жить”. Жить — значит уметь пользоваться всем быстрее и успешнее других, чтобы ни у кого другого ничего такого (например, такого шезлонга) не было. Игра на зависти, спеси, комплексе неполноценности – совершенно немыслимые для западной рекламы ходы: “А у соседа такого нет”.

Теперь, насколько я вижу не вооруженными теоретически очами, главным словом становится “право”: “Имею право хорошо сервировать стол”; “имею право купить...”; “я достойна такой косметики...”

Это перевоспитание, конечно, основано на некотором анализе прошлого. Обобщение, к которому приходит этот анализ, — несомненно, новый миф. Он похож на тот пересмотр истории, который был произведен в Германии после нацистской катастрофы. Виноватым в ней почему-то оказалось все лучшее в своей культуре, все любимое. Вот именно они: Гёте, Гегель, фольклорные песни — оказались ответственными за ужасы тоталитаризма. У нас, как все помнят, виновником происшедшего оказалась святая русская литература, как ее назвал Томас Манн. Не кто иной, как Лев Толстой, Федор Достоевский, Александр Блок — они подготовили весь этот кошмар. Поэтому перевоспитание должно было начинаться с того, чтобы решительно покончить со всяким романтизмом, гуманизмом и идеализмом. Новый человек, успешный человек, — это спокойный циник и агностик, находящий комфорт в том, что ничего нельзя узнать, что “все сложно”. Следует быть обывателем, в котором не осталось никакой пассионарности, и все, что ему нужно, — это гарантии, это отсутствие риска, комфорт и безопасность. Если такой тип наконец восторжествует, мы будем жить в цивилизованном обществе. История кончится, потому что такой вот мирный обыватель не любит войны: зачем ему это все; он вылечен на сеансах психоанализа, он уже не невротик, как герои и гении. Всем ведь давно известно, что невротик и герой — одно и то же, а гений — патологическое явление.

Вся эта Библия либерализма принимается без малейшего сопротивления. Интересно, что эта сверхкритическая идеология антиидеологизма не дает критиковать себя. Каждый, кто выскажется против какого-нибудь из ее догматов, рискует репутацией: он будет быстро приписан к лагерю реакционеров, элитаристов, клирикалов и не знаю кого еще. Ах, вам не нравится венчание однополых браков?....

По-своему здесь повторялся европейский путь выхода из шока тоталитаризма – с одним значительным отличием: там искали выход из чувства собственной вины, а у нас темы своей вины при обсуждении прошлого и не возникало. Никто и никогда, высмеивая, вышучивая, брезгливо отталкивая все “совковое”, не заговорил о собственном стыде и вине.

При этом отличии, общий выбор — путь воздержания от высокого, романтического и доброго — по существу совпадает с европейским. В этом смысле показателен французский философ Андре Глюксман, написавший книгу “Одиннадцатая заповедь”. Одиннадцатая заповедь, по Глюксману, состоит в следующем: человек должен помнить, что ему соприродно зло. И поэтому никогда не стоит затевать ничего хорошего, потому что во все хорошее он внесет свое зло, и у нас будет очередная утопия, очередной тоталитаризм и так далее. Когда мне довелось встретиться с Глюксманом, я спросила его: “А не кажется ли вам, что эта одиннадцатая заповедь избыточна?” Он удивился. Я сказала: “Ведь если бы это не было известно, не нужно было бы давать все десять заповедей: „не убий“, „не укради“ и т.д.: зачем человеку, у которого нет дурного внутри, запрещать такие вещи? Он и сам их не захочет.” Глюксман засмеялся и сказал, что моя критика довольно деликатна: один раввин ему просто сказал, что он считает себя Господом Богом, который дает новые заповеди.

Это, пожалуй, и есть тот урок, который смогли извлечь западные мыслители, пытавшиеся понять, что произошло в двадцатом веке: признание какой-то фундаментальной недоброкачества человека и падшести мира. Удивительно, что это кажется таким необычайным открытием? Но это в самом деле катастрофа антропологии Просвещения, отменившего память о первородном грехе, — конец той картины человека, которая вдохновляла европейскую культуру последние столетия. Отмена посветительской отмены.

Одна знакомая мне поэтесса из Израиля, выслушав мой рассказ про Глюксмана, заметила: “А я бы предложила другую одиннадцатую заповедь: „Помни, что в тебе есть что-то хорошее“”. Я думаю, что эта заповедь выглядела бы сейчас гораздо оригинальнее.

Итак, знание о внутренней порче и постоянное напоминание: не забывай, что мы живем в падшем мире, что ты падшее существо, — как будто должно удерживать человека от каких бы то ни было глобальных проектов и утопических надежд, грозящих ГУЛагом и Освенцимом. Однако не обдуманно вот что: эта присущая человеку низость не перестанет действовать и тогда, когда он не будет предпринимать ничего хорошего... Так что выход из истории не удался.

Но выводы сделаны, картина сложилась и далее не обсуждается: да, это романтики, это поэты, идеалисты, аскеты, фанатики — это они виноваты в революции, это они все погубили, мы расхлебываем их поэтические замыслы.

На самом деле, есть другие осмысления происшедшего, и другие поиски его источника, которые мне кажутся гораздо более правдоподобными и которые, как мне кажется, до сих пор внимания к себе не привлекают.

Я имею в виду художественные анализы. Не политологов, не социологов. Я имею в виду, например, “Собачье сердце” Булгакова с его замечательным героем — хулиганом, недочеловеком. Мне пришлось однажды смотреть блестящий спектакль по этому сочинению Булгакова в Эдинбургском театре. Шариков, к моему удивлению, был как живой, знакомый, как говорится, до боли: как только шотландский актер смо так проникнуть в нашего люмпена и его мировое торжество? Зал смеялся, а мне было не до смеха: передо мной проходила наша история, победители и властители нашей страны. Диагноз: источник происшедшего — хулиганство, хулиганство как исторический феномен. Он возникает каждый раз, когда кончается аграрная цивилизация и люди из деревни приходят в город. Они вырываются из своей культуры и не приобщаются к городской. Здесь месторождение люмпенства, которому “нечего терять”, которому ничего не жалко, потому что окружает его чужое, месторождение хулиганства как всеобщей роковой опасности. Между прочим, эту стихию хорошо чувствовали и Блок, и Василий Розанов...Эту опасную полосу проходят все страны, в которых происходит индустриальная революция. Но в России этот момент, к несчастью, совпал с Мировой войной, со многим еще, с наличием теории захвата власти (обычно у хулигана теорий и партий не образуется). Последствия здесь были страшнее, но в своем роде такое вторжение хулигана переживали все европейские страны. Не в той же ли среде зарождалось нацистское движение? Гете здесь совсем не причем.

Из диагноза следует путь лечения. От чего же требуется исцелиться: от поэта, романтика, идеалиста, аскета в себе? или же от люмпена, хулигана, бесстыдника? Так вот, если герой тоталитаризма — булгаковский люмпен, хулиган, то это совсем другая история и из нее следуют другие выводы.

Но еще интереснее, как мне кажется, тот анализ, который невольно (поскольку это не составляло их непосредственной задачи) провели два совершенно разных писателя: Набоков и Пастернак, ни в чем другом не сходные. Но вот в этом они сошлись: они изобразили деятеля революции, того, кто устанавливал этот новый строй, как посредственность. Таковы герои Набокова, которых боится главный герой, alter ego автора (“Смерть титанов”), и таков Стрельников у Пастернака. Это люди, главное свойство которых – отчужденность от жизни, бесталанность или, как говорит о Стрельникове Лариса, принципиальность. Нужда в схеме, неспособность выйти за пределы этой схемы, неспособность допустить открытый мир, будь это мир искусства, мир морали, мир чего угодно — все для них должно быть упорядочено раз навсегда, решено и закрыто, как в старой песенке: “Касса закрыта — ключ у меня”.

Гораздо более целенаправленной и обширное, не только художественное, но историческое исследование крушения России предпринял Солженицын в “Красном колесе”. И, по моему впечатлению, его исследование кончается тем же диагнозом. У “старой правды” не нашлось даровитого защитника: если такие оказывались (Столыпин в первую очередь, фронтовые генералы), окружающая посредственность топила их с поразительной бездумной жестокостью, она топила не только людей с даром справедливости и заботы, но всякое

даровитое решение. В отличие от Набокова и Пастернака, у которых мы видим более всего душевно-умственную сторону посредственности, Солженицын сосредоточен на посредственности нравственной, на убожестве сердца — и у “бунтарей” (именно так выглядит убийца Столыпина), и у приверженцев режима (военачальники, двор). Жорж Нива назвал это “крушением классической добродетели”. И здесь мы еще раз видим, что классическая добродетель и посредственность несовместимы. Человек добродетели — не “маленький человек”. Самый разговор о добродетели становится невозможным, если постулируется отчуждение от истины, источника человеческой интуиции добродетели, практической ориентации в добре и зле. “Маленький человек” — враг истины: она страшна для него своей огромностью и открытостью. Тем более праведник (в любом, самом униженном положении) — не “маленький человек”. Матрена отстоит от Акакия Акакиевича “яко востоцы от запад”. “Маленький человек” еле держится на поверхности жизни и тем вызывает у нас острую жалость: но праведник жалости не вызывает: он на своем месте держит мир.

Господство именно этого характера, “маленького человека”, а вовсе не какого-то Прометея из пропагандного мифа и составляло основу того старого тоталитаризма, в котором мы жили и из которого до конца не вышли. В брежневские времена Иван Жданов как-то заметил: “Вот, в русской литературе жалели маленького человека, а теперь нами этот маленький человек и правит”. Я с ним согласна, потому что то, что было тогда, никак не было правлением какого-то безумного романтика, кристально чистого кровопийцы и так далее. Ничего подобного: это был человек, который угнетает других, потому что он сам бесконечно угнетен. Он угнетен страхом — это человек запуганный. И чем более устрашающие формы принимает его торжество, тем очевиднее, что вся эта сила происходит из того, что он страшно боится; все, что он делает, — это превентивная агрессия. Как сказал известный немецкий писатель о фашизме: “В их силе нет блеска”. В посредственности блеска не бывает. Она и не понимает блеска. Великое для нее — это просто очень, очень большое и устрашающее.

Я хотела бы уточнить одну вещь: что я, собственно, имею в виду, говоря о посредственности, о том, что называли “маленьким” или “простым” человеком, чтобы избежать легко предсказуемых обвинений в элитаризме, высокомерии и т.п.. Посредственностью, которая составляет социальную опасность, я отнюдь не называю человека, у которого нет каких-то специальных дарований — совершенно не это. Я называю так человека паники, панического человека; человека, у которого господствующим отношением к жизни является страх и желание построить защитные крепости на каждом месте.

Русское слово “посредственный” по своей морфологии позволяет понять его по-разному: посредственный как нечто посередине, ни то ни се — или иначе: как человека, которому необходима опосредованность, который воспринимает все только через готовые, опосредованные формы: он не может перенести прямого неопосредованного, непосредственного отношения с миром. Вот такого человека и стали прославлять, называя его золотой серединой, которая спасет нас от опасных крайностей. Мне скрайне обидно за Аристотеля, который в своей “золотой середине” никак не предполагал посредственности, он бы никогда не связал ее с таким благородным металлом. Аристотелевская “середина” — очень радикальная вещь: она заключается в равном отстранении от двух противоположных пороков, но в этой сложной пропорции всегда есть блеск и мужество. Впрочем, не один Аристотель пострадал и обтрепался, попав в развязный журналистский дискурс.

Так вот, какую же опасность представляет собой человек, который не может открытым образом встретить реальность? По-моему, очень простую, и долго говорить об этом излишне.

Во-первых, это человек бесконечно манипулируемый, тогда как того, кто не так боится, труднее принудить к чему угодно.

Во-вторых, он постоянно настаивает на все большей и большей герметизации мира, замкнутости от всего иного, поскольку во всем другом есть риск. Я с большой радостью прочла в одном из посланий Иоанна-Павла II ответ на следующий вопрос: “Кто же виноват в расколе христианских церквей?” Папа отвечает: “Посредственность”. Посредственность внутри

каждого из расколотых движения. Именно посредственности нужны расколы, потому что посредственность, как я говорила, — это желание обойтись без малейшей гибкости, без всякой открытости, держась за раз и навсегда принятые обобщения, которые заменяют личный опыт, заменяют то, с чего я начинала, — старую правду.

Представим себе цивилизацию, которая достигла полного торжества посредственности: она, несомненно, открывает двери крайнему риску, фанатизму, потому что фанатизм — это другой способ переживания той же самой неуверенности и того же самого страха. Это мы и видим в последние годы: столкновение мира без идеологии, без способности сопротивляться злу (поскольку нет зла без добра), без способности жертвовать (поскольку последняя ценность этого мира — продолжение существования почти любой ценой) — и людей, которые очень твердо знают, что всегда и на всяком месте нужно делать и не задумавшись пожертвуют ради этого и другими, и собой.

Вот все, что я хотела сказать. Простите за несвязность и незавершенность моих мыслей.

**Участствуют:** Ольга Седакова, Виталий Лейбин (ведущий), Алексей Левинсон, Михаил Блинкин, Дмитрий Ермольцев, Юрий Лапшин и др.

**Лейбин:** Я правильно понял, что это в некотором роде обсуждение кризиса не только российской культуры, но и европейской цивилизации?

**Седакова:** И нас в той части, в какой мы к ней принадлежим: в нашем культурном авангарде.

**Лейбин:** Удивительным образом это совпало с тем, что мы обсуждали до того. Я представляю политическое издание, но для нас сфера, — все равно часть культуры, и чтобы заниматься ей достаточно искренне, надо как-то найти в ней какие-то неложные вещи. И вот мы в прошлых лекциях обсуждали проблему так называемых демократических ценностей, в которых, кажется, мы попали в лужу.

Как это произошло с описанной вами идеологией рынка, то же самое произошло со многим другим, что как бы воспринято как импорт более развитой и более высокой западной культуры. В частности, есть ценности демократии, которые почти тотально в нашей интеллигентской среде, среди моих друзей склеиваются то с мнением ОБСЕ, то с процедурой — с чем-то техническим.

В нашей стране это, по-моему, всегда приходит к следующему дурацкому столкновению: образовалось два лагеря (если уж вводить политическую актуальность в эту действительность). Получилось так, что, с одной стороны, есть люди, которые за демократические ценности, которые склеились с процедурой и с тем, что ценностями не является, а является чем-то скорее экспортным, рекламным вариантом какой-то части культуры. С другой стороны, есть люди, которые говорят про ценность русского языка, государственности и культуры, но при этом, кажется, не имеют на это права. И коммуникация между ними невозможна, возможен только мордобой. Одни говорят, что абсорбироваться надо с русской культурой, а не с чем-то другим, а другие говорят, что надо же демократию любить. В этом и есть ценность. Отсюда такая непродуктивность, по-моему, чудовищная в нашем общественном обсуждении.

**Седакова:** Да, и у нас это принимает особенно неуклюжие формы, но в принципе это та же развилка, на которой оказалась и европейская культура — не скажу об американской, я ее гораздо меньше знаю. Там есть господствующее интеллектуальное мнение, которое можно назвать левым в разных оттенках. Также есть очень небольшая часть консерваторов или людей, которых относят к правым. И между ними обнаруживается, может быть, не столь пародийное, но тоже безвыходное разделение. Все, что связано с совестью, гуманностью, поисками справедливости продолжает оставаться за левыми. Но в сферу репрессивного, того, что понимается как антигуманное, у левых попадает традиция, культура, воспитание. Все это репрессивно, потому что не все же получали хорошее воспитание, значит, это уже дискриминация и так далее.

С другой стороны есть консерваторы, которые прекрасно понимают ценность, глубину, высоту человеческой культуры. Но они могут спокойно (не патетически, как наши патриоты)

высказывать вполне фашизоидные вещи, от которых у меня несколько волосы дыбом встают. Одна моя английская знакомая сказала: “Вы знаете, у нас все разделилось так: сердце — у левых, а голова — у правых”. И если два этих органа состоят в полном отчуждении, они не обеспечивают жизнедеятельности, и в итоге дают состояние столбняка.

**Вопрос:** Мысли две. Первая крутится вокруг того, что меня задел ваш рассказ про Финляндию, когда вы читали лекцию и студентам не было понятно, что им говорят. Как мне кажется, в нашем советском и постсоветском научном обществе вроде бы принято писать умными словами. Но не всегда понятно, когда эти слова умные, а когда они квази-умные, модные слова, новые. Новые, заимствованные. Гиперболизируя, можно сказать, что считается дурным тоном перевести книжку какого-нибудь западного философа, не сделав ее в три раза сложнее, чем она была в оригинале. Мне читать эти книжки очень сложно, я дико хочу понять, что имеется в виду, но сталкиваюсь как бы с преградой, с каким-то шумом. Я не понимаю, хочу понять, и, собственно, мне хочется, чтобы вы прокомментировали вот это.

**Седакова:** Я ваши требования нахожу совершенно законными. Употребление сложного языка, сверхсциентистского языка и усложнение перевода возникают просто оттого, что с содержанием что-то не то. Ведь для того, чтобы перевести просто, необходимо понять оригинал, а наш переводчик часто работает как зеркало, отражая слово за словом. Действительно, эти переводы часто затруднены совершенно неоправданно. И то, что использование научного языка позволяет скрыть собственную глупость, — это правда. Ваш вопрос говорит как раз о том, что вы совсем не похожи на тех финских студентов, потому что вы думаете и видите, что между словарем и содержанием есть расхождение. Их претензия была не в том: они не хотели трудностей. Они говорили: “Вы нам задаете трудные вещи. Мы не хотим думать над трудным”.

**Вопрос:** С другой стороны, очень разозлившись на все это, не поняв три книжки, которые я очень хотел понять, я решил, что в будущем, если я буду что-нибудь писать для своих будущих, если они когда-либо появятся, студентов, то писать я буду так, чтобы понял средний одиннадцатиклассник, поскольку эта мысль соответствует тому, о чем вы говорили касательно среднего простого человека. Не является ли это профанацией науки? Наука — это все-таки свято.

**Седакова:** Нет, я так не думаю и не хочу, чтобы меня поняли таким образом, будто я против совершенно естественной и веками освещенной традиции просвещения, преподнесения знаний в той форме, в какой их поймет начинающий, — не говоря уже о том, что простота формы может углубить и усложнить содержание. Ваше возмущение законно — и вывод Ваш мне нравится. Если бы вы сказали, что в ответ на это, в ответ на три книжки, которые меня разозлили, я буду писать только словами, известными пятилетнему ребенку, вот здесь вы бы поступили в постмодернистском стиле. Посмотри: при помощи словаря из десяти слов я передам вам всего вашего Гегеля.

Повторяю: называя что-то посредственностью, я совершенно не желаю никого обидеть, потому что это не обделенность природой, это выбранная позиция — вот что я имею в виду. Я выбираю эту позицию, я хочу быть «маленьким человеком», с которого взятки гладки. И одно из отличительных свойств посредственности — это как раз поступать реактивно. Раз ты так, тогда я так. Вот эта элементарная реактивность — одно из проявлений того, о чем я говорю.

**Вопрос:** Еще одна реплика на тему гениальности. Насколько я понял, вы сказали, что гениальность — это не патология. Я хотел бы в ответ сказать, что гениальность — это патология, потому что я бы определил гениальность как способность понимать, как работают вещи без должного багажа знаний на то. То есть когда человек прорабатывает кучу материала и после этого говорит, что так-то оно так-то, а это так-то, то это уже не гениальность, а мастерство. А гениальность, скорее всего, характеризуется тем, что человек чувствует, знает, как работают вещи. И поэтому она сродни патологии, потому что нормальный человек не способен понять, как работают вещи, не зная должного количества всего, чтобы понять.

**Седакова:** Тут я могу сказать, что общепринятый путь не стоит считать антропологической нормой. Действительно, чаще всего человека надо учить, но понять без

учебы, без подготовки, прямым путем — мне кажется, это нормальная, природная способность человека. Человек — очень богато одаренное существо; другое дело, что по каким-то причинам создаются культурные затруднения, и он идет долгим постепенным путем, но мне кажется, гениальное озарение по существу нормально и несомненно здорово — ничего патологического в этом нет.

**Вопрос:** То есть все люди гении?

**Седакова:** Может быть. По моему достаточно большому опыту общения с чужими детьми я могу сказать, что лет до шести они все гениальны. Потом некоторые из них начинают скучать и говорить: “Это мне скучно, это не для меня”. До пяти лет никто не отказывается от нового, их реакция всегда необычайно правильная.

**Скорик:** Проза поэта всегда интересна, но уйти, не услышав поэзию поэта было бы очень жалко. Если бы прочитали несколько своих стихотворений, я был бы очень благодарен.

**Седакова:** Мне кажется, это не относится к обсуждению...

**Лейбин:** Мне лично очень хочется послушать стихи, но я при этом хочу понять, успеваем ли мы чем-то заняться по содержанию.

**Лаврентьев:** Мне кажется, что этот важный вопрос о соотношении политики и культуры, явно стоит сейчас в России, и нам предстоит сделать выбор, насколько и в каком качестве мы здесь включаемся в европейскую позицию и насколько мы берем на себя смелость от нее отличаться. Та вторая позиция, о которой сказал уважаемый ведущий, она пока не смогла доказать, что мы можем идти только своим путем, не включаясь в общий путь развития европейской культуры; не было показано, что это может нас к чему-то привести. Пока что у этих людей есть возможность себя проявить, и мы пока что видим здесь сплошные провалы. Вот это моя точка зрения.

**Седакова:** Да, вот еще одна причина, по которой мне не хочется участвовать в публичных обсуждениях: постоянный сбой диалога. Тебе отвечают не на то, что ты говорил. Я не говорила о «своей дороге», никаких совсем «своих» дорог больше нет. Речь шла об общей современности и о том, какую в ней позицию выбрать: примкнуть к магистральному движению к торжеству среднего человека — или к тем, кто пытается как-то этому противостоять.

Если для нас, для меня, в частности, человека, выросшего на бесконечном почтении к европейской культуре, встреча с новой Европой была во многом печальным опытом, то же самое произошло и с их стороны. Разочарование в надежде на «помощь России». Какую помощь? Никто так не критикует современное европейское общество, как сами европейцы. Слава богу, этот навык у них есть. Давно обсуждая свою «утрату идентичности», многие в Европе ждали, что они услышат что-то ободряющее из России, пережившей такой трагический опыт, из России – наследницы великой культурной традиции. Что прозвучит не экзотический ответ общей растерянности, но ответ внутри общей ситуации, внутри европейской традиции, испугавшейся собственной исчерпанности. Вопрос не в претензиях на оригинальность, не в том, похожи мы или не похожи. Вопрос в солидарности. Может быть, нам есть что сказать.

**Лейбин:** Я имел в виду, что обе стороны не имеют потенциалов к тому, чтобы как-то себя проявить, потому что врут обе. В том числе и себе. Нельзя демократию импортировать без критики ее. А с другой стороны, Виталий Найшуль проводил параллель с Германией, полностью подтверждающую основной тезис, и говорил о том, что после фашизма там был введен запрет на гениальность, и это обсуждается там в такой формулировке.

**Седакова:** Поразительно, как эти формы сходятся. У нас говорили: “Вы слишком ученый. Здесь такие цитаты... Вы хотите показать, что вы образованный — это негуманно. Нельзя цитировать того, чего другие не знают”. Почему-то именно самое яркое, талантливое, ученое представляется самым опасным, хотя на самом деле это менее всего опасно.

**Иванова:** У вас очень четко прозвучала мысль о связи посредственности с воспитанием и образованием. И, конечно, всех волнует именно эта проблематика, потому что сейчас Россия входит в Болонский процесс: она подписала Болонскую конвенцию. Происходит

сближение систем образования. Вопрос такой: на ваш взгляд, это движение от посредственности или наоборот?

И второй вопрос, связанный с предыдущим: для всех думающих людей, у которых есть дети, проблема об оптимальной системе образования сейчас является наиболее важной, потому что то, что есть в школах, как правило, не устраивает. Люди заглядывают в прошлое: а где же та, достаточно эффективная, система образования? С учетом вашего опыта: какая из известных европейских систем наиболее отвечает современным потребностям интеллигентного человека?

**Седакова:** Я не могу сказать, что я знаю это положение хоть сколько-нибудь подробно. Я могу рассказать только то, что я видела, и то, о чем говорят все. И этот рассказ будет печальным свидетельством упадка гуманитарной образованности. Совсем недавно я выступала в одном французском университете и меня спросили: “Вот у вас тут в стихах встречаются образы из греческих мифов, они для вас важны?” Я сказала: Да, но я боюсь, что принадлежу к последнему поколению авторов, которые переживают античность как нечто живое и лично необходимое. Я рассказала им о том, что в Англии студенты-филологи не знали, кто такая Аврора, которая встретилась им в стихотворении Пушкина: “Навстречу северной Авроры...”. Тогда я спросила, каких олимпийцев они знают. Недолго подумав, они вспомнили Аполлона, — и на этом список кончился. Тут мои французские слушатели начали переглядываться. Я сказала, что таким образом мы теряем не только Античность, но мы теряем всю нашу культуру: английскую, французскую и так далее, потому что без этого нельзя узнать сюжеты картин, нельзя понять стихи, в которых это все упоминается, вплоть до двадцатого века... Профессор дополнил меня: “И даже нельзя понять, что такое Европа – ведь это сюжет из греческой мифологии”. К моему изумлению, французские студенты сказали: “Неужели?”

Это падение гуманитарной образованности – относительно недавний процесс. Еще люди моего поколения получили прекрасное гуманитарное образование, они во сне могут перечислить всех олимпийцев, все классические мифы, все библейские истории. Нынешнее положение — это результат (как мне рассказывали) контркультурной революции, которую произвели люди моего поколения и немного старше. Дети этих революционеров уже ничего не знают, они наконец освободились от репрессивной культуры.

**Левинсон:** Ольга Александровна, мне хотелось бы от обсуждения печальных обстоятельств в западной культуре перейти к тому, что у нас есть и было. Мне кажется, что вопрос с посредственностью у нас стоял так: посредственность была взята за норму теми, кто имел возможность любым способом — политическим, идеологическим или каким-то другим — навязать свою власть. Может быть, можно сделать это, взяв за норму, например, гениальность. А может быть, нет — такой опыт не ставился. Но я хочу сказать, что у нас торжествовала не посредственность, а посредственность, взятая за норму.

**Седакова:** Да.

**Левинсон:** Тогда, по сути дела, то, каким инструментом осуществляли свою власть те, кто это делал, не так важно: это цвет кнута, а не факт его наличия. И мне кажется, что когда кто-то говорил вам, что вы слишком сложно пишете, то он брал на себя ответственность за распространение посредственности. Вам это говорили не читатели, а редакторы. Конечно, есть человек, который какого-то поэта не понимает, что здесь такого? Но когда редакторы запрещают кого-то публиковать, — вот где вставала проблематика посредственности.

**Вопрос:** встает ли она таким образом сейчас? Мне кажется, что встает. Мне кажется, что это происходит совсем по-другому. Опять предъявляется обществу идеал, который, может быть, еще не навязывается идеологической машиной, она еще не раскручена, но уже заходят разговоры о некоей новой норме. Мне кажется, что это небезопасная штука.

**Седакова:** Посредственность, естественно, была одновременно и инструментом и целью: надо было превратить в посредственность все население. И те, с кем это не удавалось подвергались преследованию — не каких-то политических взглядов, а просто потому, что они представляли собой не посредственность, этого было достаточно. То же самое происходило в

Германии. Образцов преследования человека за то, что он не гений, мне кажется, мы не найдем. Мне кажется, и быть такого не может, чтобы гений превратился в репрессивную силу.

У нас все было очень просто устроено: была машина, которая формовала людей, у нее был свой аппарат, хорошо налаженная система и так далее. Как подобное происходит в обществе другого типа, для меня остается загадкой. Кто велит делать плохие выставки? Как получается, что человек, обладающий формальной властью, говорит: “Я этого не люблю, но я должен”? Кому он должен? Не государству, не компартии, не КГБ — некоему анонимному общественному мнению. Откуда оно берется, я не могу исследовать. Но оно отчуждено от каждого, оно над всеми.

**Блинкин:** Я позволю себе сначала некоторые воспоминания. Лет десять назад я просматривал материалы, связанные со вступлением России в Совет Европы. Меня поразило следующее обстоятельство: одновременно с принятием России в Совет там рассматривалась в качестве первого вопроса жалоба группы французских студенток марокканского происхождения по поводу того, что более 95 % университетских учебников Европы написаны белыми мертвыми мужчинами. Здесь усматривалась дискриминация по линиям живой—мертвый, черный—белый, женщина—мужчина. Это же жуткая дискриминация по трем важнейшим признакам. Самое интересное, что европарламентарии рассматривали это всерьез: была большая дискуссия, у меня не хватило терпения ее дочитать. Вот это выступление посредственности.

Я всегда считал, что это некоторые издержки той хорошо и тепло устроенной цивилизации. Их вина. На самом деле тезис Ольги Александровны по поводу посредственности в тоталитарном обществе — это цветочки по сравнению с торжеством посредственности в обществе посттоталитарном. Я только сегодня отдал господину редактору комментарий — он вывешен на сайте — по поводу гамбургского счета при властных назначениях. Замечу простую вещь: в те годы, когда я учился в университете, ректором МГУ был ученый мирового уровня Иван Георгиевич Петровский — не будем обсуждать, кто является там ректором сегодня. У меня подобных примеров еще десятки. Сильно похоже, что наступление посредственности в посттоталитарном обществе страшноватей, и, честно говоря, когда я увидел название “Посредственность как социальная опасность”, я подумал о дискурсе существенно более политизированном, актуальном — к сожалению, это очень похоже на правду. А лекция была замечательная, спасибо.

**Седакова:** Да, это только самое начало. У меня нет готовых ответов: я только поделилась своими мыслями, которые давно уже пытаюсь продумать, но наглядность происходящего невероятна. И, вы знаете, даже не нужно другого ректора. Тот же самый вдруг будет вести себя иначе.

Поскольку мы все время сравниваем с собой: я попросила бы немного отключиться от этого и не думать, что я о том, какой ужас там, на Западе, тогда как у нас все в порядке. Насколько у нас плохо, я просто не обсуждаю. Если я говорю о том, что французские или английские студенты не знают Афродиты или Европы — это не значит, что я хочу сказать, как хорошо было у нас, когда все читали мифологию Куна. Нет, я прошу отсечь такого рода сравнение и об этом не говорю.

**Вопрос:** Мы говорим о современном обществе, не важно, российском или западном, о рациональном обществе и о посредственности в нем. Но до этого в течение тысячелетий человечество жило в условиях общества, которое условно можно назвать мифологическим. Оно жило в мифах. И частично мы сейчас, как вы сами заметили, пытаемся это преодолеть. Сложность в том, что в том, старом обществе посредственность тоже была. И она была в некотором смысле гораздо более жесткая: знай свое место, место, которое тебе определено богом. Рожденный шутком никогда не станет кшатрием. Рожденный кшатрием никогда не станет брахманом. Но в результате это порождало странный парадокс: человек, недовольный тем местом, которое ему определил бог, восставал и в некотором смысле восставал против бога, и приближался к нему. И, может быть, именно с этим связаны все эти великие имена:

философия, литература, в том числе русская. То есть люди в некотором смысле соревновались с великими героями, великими богам.

Сейчас рационализация, полная и тотальная. Пример с левыми и правыми: на самом деле их позиции абсолютно последовательны и абсолютно рациональны. Они доведены до крайности. И в результате отрицание культуры в одном случае и расизм в другом. Есть ли выход?

Мир мифа целостен и полон. И, как ни странно, он давал возможность культурно развиваться. Есть ли выход здесь, когда наша ситуация порождает посредственность и только посредственность? Когда человек перестал соревноваться с богами и великими героями прошлого? Он соревнуется сам с собой, и мы с вами видим результат, не важно российская это культура или западная. Философия, литература... Есть ли имена, которые могут сравниться с теми, что были еще сто лет назад? Их все меньше и меньше. Есть ли выход из этого? Найдет ли современное рациональное общество какой-то выход?

**Седакова:** Мне кажется, что чему нас научил XX век, так это тому, что всеобщих проектов предлагать больше нельзя. В этом я согласна со всеми скептиками. Никакого общеулучшающего, никакого общего выхода предложить нельзя. Только вот этот самый выход: личное обращение каждого к самому себе, к внутреннему человеку. Я понимаю, что это не социальное решение, но, как мне кажется, никаких социальных решений опыт XX века нам принимать не позволяет.

**Лейбин:** Я хотел бы добавить, что все-таки запрет на гениальность, который был введен в Европе, в Германии, относился также и к философии, которая не может не осмысливать социальный предмет.

**Ермолицев:** Вы сказали, солидаризуясь с Иваном Ждановым, что советский строй состоял из маленьких людей. То есть в тоталитарных проектах нет вообще ничего романтического — сила без блеска. А я хотел попросить прокомментировать в этом аспекте идеи Тимура Кибирова, у которого есть, например, ряд антиромантических программных для него стихотворения, в том числе и “Еще раз о романтизме”, где он сближает две вещи: собственно романтическую парадигму всех этих великих бунтарей и сверхчеловеков и взбесившегося люмпена; он видит 1917 год, революцию именно в этом их сближении. Это бунт человека, стоявшего на своем, с его безмерными амбициями, отказавшегося от человеческой нормы, от вменяемости. Он разрушает эту серединную территорию культуры, которую сейчас Кибиров смело называет мещанством, вкладывая в это слово положительный смысл. По Кибирову, это есть романтизм.

Кстати, это предположение отчасти подтверждается тем, что именно романтическая парадигма, романтическая картина мира в наше время наиболее четко фиксируется в психологии уголовного мира, в блатном фольклоре того же Советского союза. Образ страдающего изгнанника, забитого миром бунтующего героя — образ сниженный, измененный. Как бы вы могли это прокомментировать? Понятие мещанства: для Кибирова, достойный выбор — это выбор в пользу как бы маленького человека, мещанина в его понимании, отказавшегося, может быть, от каких-то необычностей и находящегося на этой срединной территории.

**Седакова:** Я очень уважаю позицию Тимура Кибирова, я считаю его лучшим гражданским поэтом. Я была просто счастлива, когда услышала его лирическую программу жизни «Будем мещанами, Леночка». Я с ним совершенно согласна. Но его «мещанство» — это пушкинская традиция умиления скромной и опрятной жизнью. «Я, братцы, мещанин». Ничего общего с «посредственностью», какую я описывала, этот «мещанин» не имеет. Кибиров играет с пародийными употреблениями «мещанства» и «романтизма»: эпигонского ницшеанства, эпигонского демонизма и т.п. Отвечает ли оригинал за пародию? Томас Манн писал в “Моем брате Гитлере”, что тот самый художник-истерик, которого они воспитывали в своем декадентском искусстве — вот он и явился. — Но явился бездарный художник. Даровитые художники реализуются в своих трудах, а не в жизнестроительстве. И наш Сталин имел амбиции поэта — но он был дурным поэтом, за что и не уставал мстить.

То, что различает блатную поэзию и Блока, — это бездна. Может быть, блатной думает, что и он поэт, но он не знает, что поэзия Блока — это тягчайший труд, это по-своему строгая жизнь, это нечто совсем другое. Стихи Тимура восстанавливают нормальное восприятие вещей. Так что для меня здесь нет никакого противоречия. И, заметьте, когда он описывает мещанскую, то есть человеческую жизнь, его мещане занимаются чтением прекрасной словесности. Они не говорят, что это не для них.

А «демон» и «бунтарь», изображенный Кибировым, и есть посредственность. И не кажется ли вам, что он похож на того самого хулигана, о котором я говорила? Хулиган, примеряющий на себя Манфреда и Кармен, Ницше и Лермонтова.

Разговор же о романтизме в его собственной области – это отдельная тема, и сегодня я не могу об этом много рассуждать. Кто только его не развенчивал. И я не стала бы защищать очень многое в нем. Тем не менее, когда Иоанна-Павла II спросили, какое он любит искусство. И он сказал: “Ранний романтизм”. Я не уверена, что целиком приму человека, который никогда не испытал очарования Жуковского или Шопена. Но это, повторяю, отдельный разговор. Я хотела сказать одно: в анализе советизма неправильно выбрана перспектива: не здесь, не в романтизме дело. Даже если это разыгранный романтизм («Буревестник»), его разыгрывает та же самая посредственность. И получается пародия. Никак не Гельдерлин, не Гофман. Да, художник Гитлер, поэт Сталин... Всем известно, какие они поэты и художники.

**Лапшин:** Может быть, это моя иллюзия, но она какая-то очень стойкая, что вот тот некоторый общественный процесс, который происходит наиболее очевидно в России, потому что я здесь живу, но, наверное, и в Европе и вообще в западной цивилизации, он как бы так протекает, вытесняя культурную и духовную жизнь, а также людей, которые ей живут, на обочину. Совершенно очевидно, что у нас сейчас власть посредственности и что на поле демократии могут играть только посредственности. Люди культуры как бы не относятся к этому всерьез, они часто не упускают возможности на этом заработать, занимаясь обслуживанием этого процесса, его регулированием, и играют в конечном счете против самих себя.

Вопрос мой, простите за его банальность, в следующем: какой вы видите возможную позицию культурного человека в современном мире? Есть очень грустное ощущение, что все, что происходит по эту сторону: что показывают по телевидению, что происходит в мире больших чисел, больших масс людей, — не имеет отношения к тому, чем занимаются другие, к тому, о чем мы сейчас говорим. Это не будет услышано... Видите ли вы здесь возможность на что-то влиять в краткосрочной перспективе, долгосрочной перспективе?

**Седакова:** Знаете, для себя я всегда решаю одну задачу: не сделать чего-то такого, не сказать чего-то такого, что бы навсегда испортило мне жизнь. После чего я навсегда стану человеком, который совершил вот такой поступок, и дальше будет затруднено. Это для меня важнее и первичнее, чем мысль о том, могу ли я на что-то повлиять или нет. Влияние, по моему, не в нашей власти. Я думаю, что достойно прожитая жизнь сама скажет о себе каким-то образом, может быть, не скоро, может быть, это будет таинственно и неприметно.. Мы сами не знаем, кому мы обязаны тем, что все-таки различаем, что хорошо, что не очень. Кто знает, какая и кем для этого проделана работа.

Кто проследит последствия поступка  
в ближайшем дереве? –  
как писал Рильке.

**Вопрос из зала:** Скажите пожалуйста, а можно ли утверждать, что массовая культура — это культура посредственности? И вообще, как соотносятся эти два понятия: массовость и посредственность?

**Седакова:** Массовую культуру трудно с чем-либо сравнивать. Когда ее осуждают, то обыкновенно сравнивают с «высокой», то есть авторской культурой. А это неверно. Ее предшественник — фольклор. Мы ведь не сравниваем фольклорные песни с Пушкиным. Существуют две традиции, одна более или менее анонимная и коллективная, другая авторская; сравнивать их было бы некорректно — поэтому я не сравниваю массовую культуру с индивидуальным творчеством, она другая. Ее естественно сравнивать с классическим

фольклором, и тогда нам придется признать, что налицо огромное снижение уровня, тем, эмоций, форм. Очень обидная и страшная история: почему «средний человек» был зрителем шекспировских пьес, а теперь ... теперь он захочет, чтобы для него их переработали в комикс? [реплика из зала – нрзб.] А, ну да, в виде фильмов — конечно.

У меня есть, видимо, неисполнимое желание, чтобы обсуждаемые вещи не слипались. Почему так трудно вести разговор, особенно у нас: потому что за одним словом сразу тянется ряд каких-то предположений и подозрений. Слышат не то, что ты говоришь, а то, что ты «хотел сказать», «имел в виду». Если я скажу, что я не люблю массовую культуру, за этим последует вот тако- о-й вот хвост всего, что мне будет приписано. И последним возражением обычно оказывается: «Но это же имеет право на существование!». Сущестующее не нуждается в правах на существование, оно есть, и мое мнение не лишит его бытия. Нам просто необходимо привыкнуть слышать тексты, а не подтексты, не додумывать за говорящего и верить его словам.

**Лейбин:** Да, мне кажется, что это, прежде всего, ошибка функции понимания, некоторая легкомысленность.

**Седакова:** Как у нас говорили: “А, ты хочешь этим сказать...” — и учили в школе: «что хочет писатель сказать этим художественным образом?». В американских учебниках на этом месте писали “what did he try to say?” — что “он старался” этим сказать?

Может быть, одна из драгоценных черт, которыми обладает тот, кого я никак не причислю к посредственности, — это внимание. Что в сущности отличает человека посредственного? он невнимателен. И хочет быть невнимательным, хочет «рассеяться», у него просто какая-то неутолимая жажда рассеяться, развлечься, расслабиться.